



Сергей Евелев

Под острым соусом

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11952613

Аннотация

Сергей Евелев много лет работал финансовым консультантом и приобрёл репутацию грамотного и порядочного профессионала. Он вёл на русском канале американского телевидения популярную передачу «Дневник финансиста» и охотно делился своими знаниями и опытом. Но душа Евелева тянула его совсем в другую область – к творчеству. Он начал писать стихи и декламировать их перед самыми разными аудиториями. Потом стал сочинять музыку, создавать музыкальные видеоклипы, писать прозу. Вот так постепенно началась его новая жизнь в совершенно другом качестве. Его стихи, книги, песни и клипы получили известность и в Америке, и в России, и в Израиле. Но Сергей не стоит на месте, а всё время работает, выступает, сочиняет, творит...

Содержание

Две жизни	5
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Сергей Евелев **ПОД ОСТРЫМ СОУСОМ**

Сборник прозы

Две жизни



Автобиографический очерк

Каждый человек живёт как минимум две жизни: одну – действительную, а вторую – желаемую. И происходит это одновременно. Чем меньше разница между ними, тем более счастливый человек перед нами.

В данном случае скажу, что я – человек счастливый. Вывод этот я сделал, написав биографии каждой из жизней... Писал я их одновременно, то берясь за одну, то перескакивая на другую. Иногда даже путаясь, «где правда чистая суровых будних дней, где вымысел, мечтами вдохновлённый»... Но в какой-то момент я вдруг понял, что они – как две капли воды: похожи и не похожи.

Одна капля, вернее, биография, чиста, как капли из Байкала (когда вода в нём была ещё чистая).

Вторая – солёная; она – из моего родного Чёрного моря, где вода сегодня (судя по тому, что на многие годы исчезнувшая рыба вернулась) снова чистая.

Не бойтесь – попробуйте по капле... А вдруг понравится?

...Я родился в Одессе в приличной интеллигентной еврейской семье. Приличной – это было мнение соседей. Интеллигентной – это моё мнение. А то, что еврейской – это было мнением общественности.

Отец мой был дирижёром, а мама филологом, хотя музыкантом и не была, но музыку знала и любила. Ну и, естественно, что при таком раскладе участь моя была предрешена, и занимался я музыкой с детства.

За окном – начало шестидесятых. А семья была, как вы помните, интеллигентной, в связи с чем (или по каким-то другим, никому не понятным причинам) ни мама, ни папа работы в городе Одесса найти не могли (хотя мы в это время знали только про безработицу в Америке и других странах бессовестно и нам назло победившего империализма).

Так в самом раннем детстве я оказался в Средней Азии, в Фергане, которая в те годы, по-видимому, очень нуждалась в специалистах, причём особенно остро – в дирижёрах и филологах!

Итак, тогда ещё «ближний» нам Восток...

Из контактов духовных – практически не помню ничего.

Из контактов физиологических – помню плов, который в знак большого уважения хозяин дома руками с грязными чёрными ногтями запихивает в рот гостям, о судьбе которых боюсь даже думать.

Два падения:

в арык с холодной водой, где пролежал минут сорок, пока меня искали. Оттуда, по-видимому, тяга к морским купаниям и плохой вестибулярный аппарат;

и в тандыр – (яма в земле, где пекут лепёшки при очень высокой температуре), откуда тяга к настоящей парной.

Хотя, справедливости ради, надо уточнить, что в тандыр я упал *пытался*, но был вовремя пойман и извлечён наружу рукой удивительного человека, о котором хочу сказать несколько слов.

Я считаю, что каждый, достигший высот в своём деле, имеет право называться Мастером, и должен пользоваться уважением соплеменников и особыми государственными льготами. Таких людей всегда было и будет мало, наверное, менее одного процента любого населения.

И не важно, кто это: циркач, виртуозно и с лёгкостью выполняющий невероятные трюки под куполом цирка, лётчик, посадивший на воду горящий самолёт, или скрипач, слушающая которого забываешь обо всём. Мастерство – оно на то и есть Мастерство! Умом здесь не объять, словами не описать, поэтому остаётся только лицезреть, восхищаться и жалеть себя, любимого, которому это не дано!

Так вот в нашем обычном ферганском дворике жила такая бабушка. И было ей, как мне тогда казалось, лет сто. Теперь я понимаю, что ей могло быть и пятьдесят, и вообще сколько угодно... Когда тебе пять лет, все, кто старше тебя – уже старики, а все, кто старше тридцати пяти... вообще непонятно, как до сих пор живы?

Она пекла лепёшки в том самом тандыре. Делала она это, видимо, давно, и набила руку настолько, что иногда казалась: она спит и работает... (наверное, мечта многих из нас – работать во сне)...

Выходила она на двор с тазом, в котором было тесто.

Доведя тандыр-печку до правильной кондиции, когда все дрова прогорали, и из неё шёл только жар без огня, бабушка отрывала кусок теста, мяла его в руках, превращая в лепёшку, и ловко бросала в тандыр. Фокусов здесь было много. Первый состоял в том, что сырая лепёшка прилипала к стенке тандыра, но только если тесто бросала она. Сколько я ни про-

бовал бросать, ничего не прилипало, и сырая лепёшка падала на дно, где вскоре и сгорала в углях... Следующий трюк был в том, что она туда набрасывала много лепёшек, и всегда находила свободное место, и одна не касалась другой, почему-то прилипая в точно отведённом для неё месте. Дальше – больше.

Наступал торжественный момент – снимать лепёшку, когда она была уже готова. Во-первых, я никогда не понимал, как это определить. Во-вторых, температура внутри агрегата была очень высокая, можно было продержаться в нём руку максимум четверть секунды, и на отдираание горячей лепёшки от горячей стенки времени не оставалось.

Оказалось, когда лепёшка готова, она сама отлипает от стенки и без посторонней помощи... падает на дно, где её постигает та же участь, что и других несчастных, не доброшенных мною. Но перед тем как «покончить жизнь самосгоранием», лепёшка издавала какой-то ультразвук, видимо говоря: «Я готова, иду падать-сгорать, если только вы не...» – и в этот самый момент, делящийся, я думаю, одну двадцать пятую секунды, бабушка запускала руку в тандыр и вынимала её оттуда уже с готовой лепёшкой. Как она слышала лепёшкин крик о помощи, откуда знала, какая лепёшка уже готова, а какая ещё нет, и потому пока молчит (там ведь их было наклеплено по стенкам много), как успевала каждый раз точно подставить руку в правильное место? Как не обжигала руку при этом? Эти и другие вопросы так навсегда и остались без ответа. Я и до сегодняшнего дня не понимаю, как она это делала...

«Мастерство не пропьёшь!» – как очень точно сказал какой-то древний мастер, пропивший своё мастерство, и я с ним совершенно согласен.

С высоты прожитых лет могу сказать, что отношения у меня с музыкой складывались непростые. Мы с ней все эти годы бегали – то друг *от* друга, то друг *за* другом. Так иногда складываются отношения у супругов: им и вместе тесно, и порознь неуютно. И не то чтобы мы с музыкой были рождены друг для друга (как в случае с Моцартом, Чайковским и Шостаковичем), но явно какая-то тайная связь между нами была, и как вскоре окажется – осталась.

Итак, мы жили в Фергане. Папа работал дирижёром Ферганского театра оперетты. Соседями нашими была семья Абдуловых. Да-да, тех самых. Но тогда я ещё не знал, что Саша станет знаменитым артистом, и с ним просто дружил.

Мы гоняли по лужам, бросали камни в окна, дрались, соревновались, кто скорее «настучит» на другого – в общем, занимались тем, чем занимаются дети и что должно было пригодиться нам уже потом, во взрослой жизни. Кстати, многие детские навыки вполне даже остаются с некоторыми товарищами на всю жизнь, особенно – бить окна и стучать на соседа. Но никакого идолопоклонничества между нами не наблюдалось (поди знай), и поэтому я у него автографа не взял (вот бы была реликвия – автограф Абдулова в возрасте семи лет!). В свою очередь, они не знали, что я окажусь в Америке, и тоже не записали адресок на всякий случай. Вообще-то теперь, по прошествии множества лет, я понимаю, что дружбу если и можно свести, то только в юности. Если тебе повезло, и ты нашёл друга, то есть шанс пройти с ним рядом всю жизнь. Тем же, у кого в юности по какой-то причине не получилось, шансов найти друга или даже друзей в зрелом возрасте намного меньше. Не поймите меня превратно, найти приятелей – это запросто. Друзей – трудно. Здесь, наверное, для ясности нужно дать определение и тем, и другим. Приятели – это такие товарищи, с которыми можно ходить в баню, ездить на рыбалку, посещать развлекательные заведения с девушками на выбор, пить пиво и рассказывать скабрезные анекдоты, т. е. культурно отдыхать.

Друзья же – это те, кто всегда незримо идут по жизни рядом с тобой и появляются, когда нужно. Вы как братья-близнецы: и понимаете друг друга с полуслова, и заинтересованы в том, чтобы другому было хорошо, весело, сытно и счастливо. Просто знания того, что этот человек где-то есть, уже достаточно, и от знания этого спокойней, что ли, на душе. Вы, если и завидуете друг другу, то не до скрежета зубового и бессонных ночей (потому что у него *есть*, а у меня – *нет*), а так, по-дружески радуясь за него, когда у него всё в

порядке... Поплакаться в дуэте с товарищем может каждый (сочувствуя его горю, сопереживая его неудачам), а вот порадоваться, что он выиграл двести восемьдесят шесть миллионов, может только самый настоящий друг. Хотя, скорей всего, этому и радоваться-то нелегко... даже если ты друг... особенно когда *понимаешь*, что, конечно, правильной было бы, если выигравшим оказался бы не он, а, например, ты... но это уже совсем другая история. Забегая вперёд, скажу, что с друзьями у меня как-то не очень получалось. Один был, но в третьем классе его семья уехала в Америку. Другой с родителями уехал в Германию, папа у него был военным... и след их затерялся.

Ну, пожалуй, вернёмся к театру музыкальных комедий, где я и рос. В очень юном возрасте я уже знал наизусть все спектакли и пел их вместе с певцами, иногда подсказывая им слова из папиной оркестровой ямы, причём совершенно безвозмездно, что, как я сейчас понимаю, было непростительной расточительностью. Я там мог запросто, собирая даже по одной копейке с актёра за подсказку одной фразы, скопить на «Жигули», которые купил бы, когда вырос. А если бы все эти деньги сложить и вложить тогда по курсу в самый что ни на есть *завалиющийся* швейцарский банк... это ведь жуткие деньги бы собрались!

Особенно я любил проводить время в гримёрках, где переодевались и гримировались женщины. Что-то было в этом магическое, необъяснимое. Видеть, как перед твоими глазами чья-то мама, которая полчаса назад стирала бельё, готовила борщ и мыла пол, постепенно превращается в королеву или, наоборот, даже бабу-Ягу – это не каждому довелось...

Не подумайте, что я намеренно избегал мужских гримёрок, но по причинам, до сих пор мною до конца не понятым, меня тянуло именно в женские. Кстати, чудо этого превращения женщин я люблю наблюдать и до сих пор, но меня как-то не очень допускают... а зря. Я бы, может, чего ценного подсказал, подсмотрев, что они там делают.

Вообще я думаю, что в подсматривании главная сладость не в том, что ты видишь (что тоже бывает приятно и иногда даже полезно), а в двух других составляющих, о которых я как-то раньше не задумывался. Во-первых, это – дело запретное, а запретное всегда имеет острый вкус и сногшибательный запах. Но главное – то, что подсматриваемый не знает об этом, так как он, или чаще она, разрешения тебе на подсматривание никакого не давала. И это наделяет тебя невероятной властью, силой, делает владельцем ситуации, королём, богом, в конце концов, пусть даже на пять минут. Это иногда превращается в болезнь – именно по причине ощущения власти и вседозволенности, которых многим из нас не хватает.

Естественно, что там, в Фергане, за пять лет со мной случались всякие истории, которые наверняка случаются со всеми детьми, проводящими много времени на улице... Очень жаль, что многие из современных детей такого «общения с жизнью» лишены. Думаю, что эту школу жизни ничем не заменишь, ни компьютером, ни книгами, ни даже репетиторами или заграничными гувернантками. То было живое, настоящее и зачастую болезненное прикосновение к природе, к людям, в их, если хотите, сыром или первозданном виде. Это когда все чувства нараспашку: что думаю – то и скажу; что хочу – то и сделаю в надежде, что не поймают. Это та самая беспощадная реальность, рядом с которой придётся идти всю жизнь, и чем раньше с ней встретишься, познакомишься и будешь ею бит – тем лучше. Сегодняшних детей, мне кажется, слишком сильно опекают, кутают, оберегая от жизни. И выходят они со знаниями прикладными из институтов престижных, с долгами за учёбу и полным отсутствием знания жизни и понимания того, как к ней приспособливаться и куда знания эти прикладные приложить.

А у кого же ещё учиться жизни, кроме как у неё самой? И ошибаться, и падать, и быть обманутым не раз. И вставать, и опять падать, и быть преданным, и ненавидеть, и мстить, и быть битым опять и опять?...

Ну, ладно об этом. Возвращаемся к приключениям маленького мальчика родом из Одессы, волею судьбы занесённого в детстве в Фергану, где, как я уже говорил, с ним всякое разное случалось...

Как-то мне в волосы вцепилась летучая мышь, и папа её от меня долго отрывал, причём вместе с волосами. Я кричал. Долго и пронзительно. Но мыши мой вопль, судя по всему, не мешал. Хотя, возможно, она меня с какой-то крупной дичью перепутала, и от моего нечеловеческого вопля у неё хватательный аппарат и заклинило. Несовершенный, видать, у неё хватательный был аппарат. А ещё говорят – природа, естественный отбор, лучшие гены... Что там у неё с генами? Напортачила природа или товарищи горе-генетики?

Все соседи стояли вокруг папы и советовали (Страна Советов – помните?).

– Гриша, – говорил один (Гришей звали папу), – ты ей закрой глаза. Ей станет темно, она подумает, что уже ночь, и полетит охотиться!

– Гриша, ты попробуй ей поджечь крылья – ей станет жарко, она испугается и улетит (без крыльев, что ли?), – советовал другой.

– Гриша, ты ей в ухо громко крикни, у них, говорят, очень тонкий слух, – она оглохнет, испугается и улетит (видимо, к врачу «ухо-горло-носу»), – и ещё много разного в том же духе.

Со временем летучей мыши, видимо, дурацкие советы надоели, и она, отрегулировав хватательную функцию, отпустила меня и улетела домой (чтобы рассказать невероятную историю о том, как застряла в человеческой голове), не убитая, не оглохшая и не сгоревшая... а я, слава Богу, остался.

Или ещё, помню, жила у нас немецкая овчарка по кличке Инга. Она была тренированная и огромная, а я был маленьким и иногда ездил на ней в магазин верхом, как на лошади. Она шла спокойно, а я гордо, как маленький джигит, сидел на ней и держался за ошейник. Но однажды где-то что-то загорелось, и мимо нас с воём промчалась пожарная машина. Инга, хотя в пожарах разбиралась плохо, но сразу поняла, что без неё не обойдутся. Она очень правильно среагировала на пожарную сирену – и тоже поспешила на пожар.

Я некоторое время, отчаянно вцепившись в ошейник, ещё держался в седле, но мой скакун нёсся всё быстрее и быстрее. С цирковой сноровкой у меня тогда ещё не задалось, и я упал из седла. Это, наверное, было бы для меня лучшим решением – свалиться. Но решал не я, а, видимо, судьба. Поэтому, по её велению или по стечению обстоятельств, я вывалился частично. То есть с «коня»-то я упал, но рука моя застряла в ошейнике.

Итак, «картина маслом» выглядела следующим образом (записано со слов свидетелей): собака бежит по дороге вслед за пожарной машиной и лает на неё. За собакой волочитя ребёнок, держась рукой за ошейник. Правда, это рассказывать долго, а произошло всё, по-видимому, очень быстро, и я от собаки, в конце концов, отвалился – то ли ошейник порвался (что вряд ли), то ли просто рука выскользнула.

Детали помню плохо. Очнулся я – лежу на земле, и Инга усиленно лижет меня, видимо, зализывая свою вину. Собака, а понимает! Глаза у неё расстроенные. Понятное дело: из-за меня не попала на пожар, и там всё теперь сгорит без неё...

Побился я прилично, пока меня тащило и дубасило всем не окрепшим ещё организмом об дорогу.

Слава Богу, дорога была не очень асфальтированная, и мои ранения были хотя и множественными, но не смертельными.

Потом, после доставки домой, я был дополнительно бит мамой (не знаю точно, за что – скорее всего, за то, что напугал собаку и пожарных), потом пришедшим с работы папой (видимо, за то, за что был недобит мамой), и только потом меня жалели-лечили-мазали йодом, кормили сладким – в общем, использовали весь набор ингредиентов для скорейшего

выздоровления пострадавших детей, потёртых собаками об землю и незаслуженно побитых собственными родителями, чтобы как-то сгладить впечатление от случившегося.

Конечно же, там было ещё много разных историй, но, во-первых, всего не упомнишь, а во-вторых, не будем географически заикливаться и двинемся дальше. Хотя вот ещё последнее ферганское воспоминание: к нам в квартиру без предупреждения и без стука входит мой друг Рустам, а я в это время стою в центре комнаты со спущенными до пола штанишками и, видимо, ещё и трусишками. Напротив меня стоит моя подружка по имени Малахатка (не шучу!) с задранной платицей и тоже спущенными до пола трусиками. Мы, видимо, что-то друг другу демонстрировали (говорят, что это все в детстве делают). Рустам от увиденного онемел. Общая пауза секунды на две-три, потом он убегает с криком: «Мама, мама, а они друг другу письки показывают!» Девочка (мгновенно одевшись) убегает с другим криком: «Ничего мы друг другу не показывали!», а я, видимо, ещё под впечатлением от увиденного, стою всё в той же позе, постепенно возвращаясь в беспощадную реальность. Потом я возвратил себе статус-кво и на древней книге поклялся убить Рустама за то, что он мне всё свидание испортил. А у меня, может быть, на этот вечер были далеко идущие планы... Нам всем тогда было лет по пять.

После возвращения из Средней Азии началась эпопея под названием «Одесская средняя школа номер 117».

Школа была большая, красивая и, видимо, престижная. А я должен был, вообще-то, идти совсем в другую школу согласно району проживания, но где-то что-то подкрутили или кого-то подмазали, и меня взяли, куда надо было. Всё это делалось для того, чтобы я попал в класс к Людмиле Семёновне Зильбертер. Она была потрясающая учительница. Всё знала, слышала каждый *шипс* и всё видела, даже спиной. Всех помнила по именам и фамилиям (а нас было человек сорок пять юных бандитов и бандиток), и ещё она умела страшно сверкать глазами, если сердилась. Мы этого ужасно боялись и не только старались сидеть тихо, но от страха ещё и домашнее задание выполняли фанатично.

Однажды мне был преподнесён урок, смысл которого до меня дошёл спустя много-много лет. Но тогда, я помню, так перепугался, что несколько дней меня трясло от страха. Была перемена, на который мы все шли в буфет, где нам выдавали булочку и стакан молока. Ну вот, сидим мы тихо-интеллигентно, едим свой полдник, никого не трогаем, и тут к нам, как всегда, абсолютно беззвучно (я думаю, что она окончила местную разведшколу для пожилых агентов, где и научилась всем своим штучкам-дрючкам) подходит всеми нами ужасно любимая классная руководительница, та самая Людмила Семёновна. А я её, естественно, не видел, так как она подкралась сзади. Я же именно в этот момент рассказывал что-то смешное, причём, видимо, именно о ней, передразнивая её манеру говорить. В какой-то момент я заметил в глазах моих слушателей ужас, смешанный с кошмаром и умноженный на «караул!». Кто ещё помнит, в десятилетнем возрасте любопытство было самой главной частью тела и жизни – и я повернул голову.

На меня беззвучно и как-то яростно (как мне казалось) в упор смотрели её сверлящие глаза разведчицы, и я... испугался. «Всё! – подумал я, – выгонят из школы, куда меня с таким трудом впилили вопреки району проживания. Выдадут мне «волчий билет» (что мне часто пророчила бабушка, хотя я точно не знал, что это за билет такой и кто меня с ним посчитает волком), и останусь я неучем и дураком на всю жизнь (это уже мамыны наставления)».

И тут я, от страха или от неожиданности, или уж не знаю сам, от чего ещё, вдруг приснул... и весь этот коктейль из молока и булочки мгновенно перекочевал из моего рта на лицо и платье Людмилы Семёновны. А она всегда была такая нарядная, красивая, причёсанная, чисто и строго одетая... Видимо, школа для неё была настоящим праздником (для нас, кстати, тоже, что я совсем недавно понял, хотя сейчас с этим пониманием уже ничего и не сделать).

Это был кошмар... И я подумал, что сейчас умру от ужаса – быстро, но мучительно, без суда, следствия, прокурора и приговора. Начитавшись всяких мушкетёров и королей Марго, я буквально чувствовал, как над моей головой палач заносит меч, и этот характерный свистящий звук означал, что самая нужная из всех голов – моя – сейчас отделится от тела и с глухим звуком покатится по ступенькам в толпу, всё ещё обезумевшую от страшного зрелища... но она, Людмила Семёновна, гениальная учительница, не сказав ни слова, повернулась и ушла.

На следующий урок нам дали замену. Но потом она появилась вновь, уже приведя себя в порядок, переодевшись... и о случившемся ничего не сказала.

Я только спустя много лет, прокручивая в памяти этот случай, понял, кем была она и многие другие люди, с которыми столкнула меня судьба, какую важную роль каждый из них сыграл в моей жизни, как многому я у них научился...

Я думаю, что формируют нас те, кто рядом с нами первые годы нашей жизни. И мы обращаем внимание на поступки их гораздо больше, чем на то, что они говорят. И попытки перевоспитать любого из нас в более позднем возрасте обречены на провал. Всё, что можно и нужно было, уже и сказано, и сделано. А дальше этот человеко-коктейль или винегрет лишь только пополняется новыми ингредиентами и специями. Это, без сомнения, вносит новый вкус, оттеняя одно и выпячивая другое, но по сути дела блюдо не меняет. Может быть, только крепчает замес с годами да уменьшается отрезок времени, необходимый для того, чтобы маску сменить с папы на сына, с сына на любовника, с любовника на преподавателя, а с того – на просителя-начальника, организатора, лизоблюда, прилипалы, садиста... ну, и на многие другие, весьма в жизни распространённые персонажи. Это я в детстве думал, что они все – люди разные. А потом, повзрослев чуток, понял, что иногда это один и тот же субъект, в разных ипостасях выступающий и маски меняющий соответственно ситуации. Просто одни это делают быстро и виртуозно, а другие медленно, всем заметно и очень топорно. Особенно это у политиков заметно.

А в пятом классе я неожиданно для себя узнал, что я еврей и что это не очень хорошо. Как-то у нас пропал классный журнал, а потом, через несколько дней, опять появился. Дирекция долго его изучала на предмет исправленных оценок, но так ничего и не обнаружила. Или сработали здорово, или не для того брали.

А в журнале, наряду с именами и оценками, кто ещё помнит, были прописаны родители и... национальность. (Зачем только? Может, чтобы знать, кого бить?). Хороших национальностей в те годы было много: русский, украинец, белорус, узбек и друг степей – калмык (кто-нибудь когда-нибудь видел живого калмыка в степях?). А вот плохая была одна. Она называлась – еврей. Причём если остановить людей тогда на улице любого города и спросить: «Почему плохо быть евреем?», не знаю, что бы они такое могли ответить. Потому что среди них много умных? Серьёзных? Талантливых? Трудолюбивых? Потому, что им нужно было быть на голову выше других, так как их гнали, не брали, не пускали, затирали, били, не любили (или я уже об этом говорил?).

Эпизод с пропажей журнала вскоре забылся. И вот в один прекрасный день ко мне подошёл ученик параллельного «Б» класса, который потом стал профессиональным бандитом (поговаривали, что даже профессиональным убийцей), и так, безо всяких затей, сказал: «А я всегда знал, что ты ЖИД», – и ударил меня в лицо кирпичом. То ли он сам журнал утащил, то ли сделал перепись евреев, одолжив его у грабителя на денёк – не знаю. Предполагаю, что у него был запас кирпичей и список тех, на ком он крепость кирпичей этих собирался проверять. Тренироваться для будущей карьеры на ком-то ведь надо было? А тут мы – как раз рядом и тогда ещё в большом количестве. Плюс то тут, то там говорили, то ли в шутку, то ли всерьёз: «Бей жидов, спасай Россию!» Интересно, что для спасения отдельных стран бывает часто – нужно кого-то бить, а кто помнит историю, так ещё и сажать, ну, а если не помогло – то убивать. От этого отдельная страна становится лучше, чище, дисциплини-

рованной, и жить поэтому в ней – одна сплошная радость, что сейчас уже понятно всем, даже дуракам.

Ну, так вот, многие из нас, будучи людьми ответственными и обуреваемыми к тому же патриотическими чувствами, решили, что ради спасения такой великой страны можно даже и себя принести в жертву. А вдруг поможет... И... уехали, решив, что подставлять вторую щеку под тот же кирпич будет для полного расцвета и победы коммунизма и его недоделанного шизофренического брата-социализма недостаточно. Спасать – так спасать!

Помогло это Советскому тогда Союзу или нет, я не знаю, но, как показало будущее, тогда в школе я оказался первым и последним в этом «кирпичном» ряду. У меня на всю жизнь остался поломанный нос и понимание того, что ЖИД – это не очень уж и хорошо, особенно если живёшь в той стране, где есть деление на национальности, и их для чего-то записывают в школьный журнал. По-видимому, для страны в целом, как, впрочем, и для каждого человека с кирпичом в частности, знание того, кто есть кто, было настолько важным, что вместо того, чтобы попросту выжечь у каждого на руке номерок, или, как это делалось в «правильных» странах, нашить звезду жёлтую на рукав, нам это клеймо проставляли в паспорте. Кто-то, конечно, может возразить и сказать, что я передёргиваю. Мол, это не только евреям писали, что они евреи. Святая правда. Всем писали, но... разное.

Если «русский», «украинец» или «белорус» не значило ничего при приёме на работу или в вуз, то, например, «узбек» или «таджик» было, как правило, большим плюсом. На это всё были специальные разнарядки, согласно которым национальные кадры очень даже приветствовались в нашей многонациональной кастрюле, невзирая на подготовку. Но еврей – это было нехорошо, и даже иногда вообще плохо. Кто-то там, наверху, наверное, знал, почему. А вот внизу, где вся эта низость и исполнялась, наверняка даже и не знали, в чём проблема-то с евреями. Но если сказали бить, да ещё и указали кого – так какие ж тут вопросы? У матросов нет вопросов... надо бить – и будем бить. Страна была – Советов. Совет дали – лупи, здоровее будешь. Да и нервишки подлечишь таким вот необычным способом.

До того как я уехал из этой страны навсегда, мне ещё много раз предстояло, прямо или косвенно (прямо – это когда говорили или били в лицо, а косвенно – когда не говорили, но действовали соответственно), со своим «еврейством» столкнуться. Но этот инцидент был первым, и потому мне очень хорошо запомнился. Тогда меня просто увезла скорая, так как я лежал в небольшой луже крови, которая натекла из носа. Вскоре нос зажил, и я вернулся в школу. Там, естественно, был страшный скандал, так как она претендовала на звание самой лучшей школы района по всем показателям, а тут – эта история. Шум был серьёзный. Во всех классах шли собрания, на которых этот инцидент обсуждался и по-коммунистически/комсомольски/пионерски/октябрятски осуждался.

Юный бандит, видимо, сам не ожидал, что маленький кирпич в сочетании с маленьким евреем произведут лужу крови и такой большой фурор, или, может быть, посчитал, что с меня хватит, но больше инцидентов подобного рода ни со мной, ни с кем-то другим в школе не происходило. Думаю, что он перешёл тренироваться в соседнюю школу, как только новые кирпичи подвезли и список тех, кому предстояло с ними повстречаться, был составлен.

Меня, конечно, пытали все: и учителя, и завуч, и директор, и родители, но я струсил, и кто это был, не сказал. Думаю, что поступил правильно, возможно, трусость и спасла тогда мне жизнь. Его бы за такой поступок точно из школы выгнали, и он потом, уже окончательно заматерев, мог бы запросто вспомнить обо мне, коротая вечера за литрухой водяры в группе таких же хороших ребят с добрыми лицами. И мог бы, без всяких кирпичей и других юношеских глупостей, просто подкараулить меня где-то вечером и «рассчитаться за базар», на этот раз уже доведя задуманное до конца, ножом или чем-то другим, хотя мог и не вспомнить. Но провидение моё, видимо, в тот раз решило не рисковать, а я тогда ещё спорить с ним не научился, это ко мне пришло уже попозже.

С самого детства провидение, или можно назвать его ангелом, хранящим каждого, всё время находится рядом с нами и нас оберегает. Делает он, она или оно это очень просто, и самое удивительное, что мы все об этом знаем. Вспомните «внутренний голос», или «мне в голову пришла мысль» (а ушла она откуда?), или «у меня на эту тему было плохое предчувствие».

В детстве мы с этим всё время сталкивались, но благодаря родителям, школе и усиленно впихиваемым в голову атеистическим взглядам на мир (так как пощупать руками или увидеть ЭТО было невозможно), мы постепенно поняли, что этого не было, так как быть не могло. Как будто можно было пощупать солнце или, например, звёзды...

Нас ругали за то, что мы писали левой рукой, и переучивали на правую. Убеждали не верить предчувствиям, снам, предсказаниям, гаданиям на картах и многому другому, необъяснимому и посему – вредному. Как будто не существовали Ванга, Мессинг и другие, непонятные, но от этого не менее гениальные ребята, всей жизнью своей доказавшие, что вокруг нас есть намного больше, чем нам разрешают видеть. Кстати, и «сильные мира сего» услугами этих «шарлатанов», как потом выяснилось, всю пользовались. Но это было для избранных, а нам сказали – нельзя, значит, нельзя. Было там у древних что-то про Юпитера и быка на эту тему... (чего-то там одному было можно, а другому – как раз-таки нельзя!).

В общем, коллективно из нас всяческую «дурь и веру в чудеса» выбили. Но! Ангелы-хранители-то никуда от нас не убежали. Они с нами всегда, везде, здесь и сейчас, пытаются нам подсказывать, что делать, а чего не делать, с кем быть, а с кем – лучше не надо, но мы к ним никогда не прислушиваемся, хотя... может быть... очень редко... а зря.

Каждое лето мы ездили в Евпаторию. Там жили родители папы, которые были врачами. Бывать там я любил, а ехать туда – не любил. Звучит странно, поэтому требует объяснения.

Меня с детства укачивает, причём везде и очень сильно (в троллейбусе, такси, самолёте и пароходе, и многих других движущихся объектах). И здесь – снова ирония судьбы, особенно если учесть, что я обожаю ловить рыбу. А рыба, как вы помните, водится в океане, ну, в крайнем случае, в море (про реки и озёра мы не будем; рыбалку и рыбу эту я не люблю). Настоящая большая рыба требует выхода в море-океан на лодке-корабле-паруснике-шхуне-барже-плотике-надувном матрасе... то есть на всём том, на чём я, по причине жуткой укачиваемости, выйти в море не могу. Вернее, выйти могу, и даже несколько раз это делал, но, во-первых, никакой рыбалки не получается, так как я, невзирая на самые передовые лекарства, масла и примочки, всё равно, если и не сразу, то вскоре ложусь на палубу корабля и тихо умираю там на общих основаниях, считая минуты, мечтая о суше и забыв о рыбалке. И уже потом, на берегу, я ещё несколько дней маюсь, приходя в себя после очередного «эксперимента». Поняв, что ещё «не выздоровел», я лет на пять забываю о море... а потом пытаюсь опять, благо, какие-то новые средства изобретают всё время, и я всегда их с одинаковым успехом пробую на себе...

Ирония ещё и в том, что на земле живут миллионы людей, которых нигде не укачивает, но им это и не важно, так как они не любят ловить рыбу и им не надо ходить в море. А я люблю и мне надо...

Итак, ехали мы в Евпаторию на корабле. И все два или три дня дороги я обычным мёртвым грузом лежал в койке и к моменту торжественного прибытия к любимым бабушке и дедушке имел ещё тот видос.

К берегу корабль не подходил, видимо, там было слишком мелко (или чтобы меня ещё немного помучить). Он останавливался в нескольких километрах от порта, и нас переправляли на берег маленьким катером. Катер болтало так, что качка на корабле казалась раем. Но если быть до конца честным, то мне было уже всё равно, как любому свежему трупу. Меня несли на руках в бессознательном состоянии и выносили на берег, как раненного в бою

солдата, со скорбными лицами, говорящими что-то типа «извините, братишки, не уберегли паренька. Ну вот, забирайте, что осталось...». Там ко мне с воплями и причитаниями бросались бабушка и дедушка, называя кого-то извергами и мучителями ребёнка. Я эту часть всегда плохо помнил. Всё было как в пьяном тумане. Потом меня везли домой в машине, где меня качало опять, и отпаивали каким-то специальным чаем. Ещё в течение двух дней пол, кровать и я в ней качались, как в море. Затем наступал полный штиль. И качка прекращалась. Я приходил в себя, и жизнь продолжалась до момента отъезда.

В Евпатории со мной тоже происходило много всяческих приключений. Например, я там познакомился с Машей и Дашей, которые жили в специальном санатории для больных полиомиелитом. Их вообще-то было две сестры, но они как-то неправильно родились и сформировались: у них сверху было две головы, два туловища до талии, а ниже был один человек. У каждой из них было по две руки, но на двоих всего две ноги. Точнее, сзади была какая-то неправильно и не там выросшая третья нога, но её потом отрезали. Мне было с ними ужасно интересно, они были очень разные, хотя, казалось бы, у них была одна общая кровеносная система, одна печень, почки. Но, видимо, это всё равно были два разных человека, ведь у них было два сердца... Что-то нехорошее с ними случилось уже много позже, когда они жили в Москве. Но подробностей я не помню.

Зато хорошо помню, что у меня как-то ночью сильно заболел живот, и я, видимо, начал стонать во сне. Примчалась бабушка. Хотя и врач, но она не смогла определить, что со мной, и вызвала сына. Сын её – мой дядя и папин старший брат – работал хирургом в местной больнице. Приехав, он задал несколько вопросов, ткнул больно пальцем мне в живот, и категорическим голосом сказал: «Немедленно на стол!». Мне тогда уже было шесть лет, но смысла я не понял. А бабушка, видимо, поняла и так же категорично ответила: «Ни за что!». Дебаты продолжались минут двадцать, и медицина победила.

Вызвали скорую, и меня увезли в больницу вместе с мамой, папой, бабушкой, дедушкой и сестричкой Лорой (двоюродной). Дебаты же продолжались всю дорогу. Решался главный вопрос – кто кого будет резать. Я был в полусознании от боли и бессонной ночи и в беседе не участвовал, не предполагая даже, что речь идёт о ком-то, кого я знаю. Дядя Вова резать отказался, а бабушка говорила, что никому не позволит резать, кроме как своему сыну. Но сын был неприступен, как скала, и сказал, что он родственников не режет. Я до последнего момента считал, что они все говорят о чём-то, ко мне не имеющем никакого отношения. Ну и, конечно, слово «резать» уж никак не могло означать «резать меня». Но когда я, вдруг вынырнув из полубоморока, понял, что «резать» всё-таки относится ко мне, то, говорят, закатил такую истерику, что сбежался весь медицинский персонал, чтобы познакомиться с племянником ведущего, как оказалось, хирурга. От моего ора все приборы, подающие кислород, измеряющие давление и другие важные параметры больных организмов, прекратили работать. Свет во всех операционных замигал, и народ из тех, кто не был под наркозом, замер, предчувствуя беду. Беда была долго, а потом, не переставая всхлипывать, затихла в ожидании неминуемого.

Операцию аппендицита я помню хорошо. Дядя Вова стоял за моей головой и вслух читал мне «Пионерскую правду». А оперировал меня другой хирург, который был ещё лучше самого лучшего, так, по крайней мере, мне объяснили. Хорошо помню, как во время операции я спросил, может ли аппендицит вырасти опять, и ответ дяди Вовы, что «скорей всего, нет, но даже если да, то не скоро». Почему-то меня именно это ужасно расстроило, и я проплакал всю операцию. (Наверное, делали под местным наркозом, хотя, может быть, это всё мне и приснилось).

А ещё как-то, лазая в поисках старого самоката, я в сарае сел на гвоздь, торчащий из доски, и примчался в дом с жутким воплем, распугав по дороге всех кошек и собак. Когда бабушка выскочила из дома, то увидела меня, орущего, и большую двухметровую доску,

которая была прикреплена к моему задку большим ржавым гвоздём. Делаю маленькую паузу в рассказе, давая возможность всем эту картинку живописную себе в уме нарисовать. Для плохих рисовальщиков поясняю: я сел на доску, из которой торчал гвоздь, но я его не сразу заметил, хотя почти сразу почувствовал. Вынуть себя из доски я не смог, и потому бежал домой метров пятьсот, волоча доску за собой, чего от боли, видимо, как-то не ощутил.

Процедура снятия меня с гвоздя заняла длительное время, большую часть которого меня убеждали в том, что это будет не больно и быстро (дважды соврали). Вообще-то я думаю, что был в шоке, так как мог говорить и бегать с огромным гвоздём в задку, что для людей нетипично. Но меня в конце концов изловили, зажали и вынули из доски, или гвоздь с доской из меня – не помню точно, но, в общем, нас троих разлучили. Вопить я начал задолго до начала процедуры и не переставал ещё какое-то время после её завершения, да и перестал-то лишь потому, что охрип, но всё равно мычал и всхлипывал, так как сильно болело. В какой-то момент мне показалось, что боль прекратилась или, по крайней мере, утихла. И тут, для усиления впечатления, улучив момент, когда я расслабился, мне вкатили укол от столбняка. Голос мгновенно прорезался, и я ещё минут десять-пятнадцать разрывал тишину, разгонял тучи и любопытных соседей, после чего заснул мертвецки, наверное, от обиды и унижения. С тех пор я очень не люблю пыльные подвалы, самокаты, доски, гвозди и уколы от столбняка.

Всю жизнь мы за собой таскаем мешок с «памятными призами», приобретёнными в детстве. Там и обиды, и побои, и слёзы, и унижения, и любви, и ненависти, и развенчанные иллюзии, и ещё много-много другого. Хорошо это или плохо – не скажу, но уверен, что в тот день, когда человек может освободиться от этого постылого груза, он обретает свободу. И ещё думаю, что до этого светлого момента доживают немногие.

А ещё меня папа учил кататься на велосипеде. Я ехал, а он бежал сзади и поддерживал велосипед за сиденье. Всё было ужасно весело до тех пор, пока я однажды не обернулся. Каково же было моё изумление, когда я увидел папу, стоящего далеко позади.

«Значит, я всё это время ехал сам!» – гордо пронзила меня мысль, и сразу же вслед за ней меня пронзила боль, так как я потерял уверенность в себе, затем – равновесие, вслед за ним – управление, и, слетев с велосипеда, пребольно стукнулся коленом об камень. Камень был очень большой, с острыми краями. На всей дороге он был один. Лежал такой грустный, одинокий, и ждал меня. Ждал, видимо, много лет, пока я не подрос, приехал и начал учиться кататься. Ну, и дождался (помните: если долго мучиться – кто-нибудь получится). Я напрочь снёс себе коленную чашечку. Она как бы отвалилась от колена, но при этом как-то непонятно висела на кусочке кожи.

Папа нёс меня домой в одной руке, а велосипед – в другой. Я уже даже не помню подробностей, возможно, в какой-то момент я просто отключился. Вернувшись в сознание, я обнаружил себя лежащим на кровати, в центре консилиума, состоящего из мамы, папы, бабушки и дедушки. Они решали судьбу моего колена, к этому времени уже забинтованного. Мама ругала папу за то, что он отпустил велосипед. Бабушка ругала дедушку за то, что он купил велосипед. Дедушка ругал маму за то, что она мешает мне расти и становиться мужчиной. Папа решал, кого бы ему и за что выругать, но вдруг всё стихло, и в комнату неожиданно вошёл только освободившийся после дежурства дядя Вова-хирург, который решительно направился к моему колену. Оно уже как будто болело чуть меньше, и казалось, что счастье было так возможно, так близко. Но длилось оно недолго, потому что для осмотра колена его нужно было разбинтовать, то есть снять повязку, а она... уже... прилипла...

Услышав мой рёв, отдыхающему после сытного ленча Конан Дойлю в голову сразу пришла бы идея написания «Собаки Баскервильей», но поверьте мне – ни одна собака Баскервильей не смогла бы издать подобный вой, да я и сам его с тех пор больше никогда не слышал.

Ещё помню, как моя сестрица Лора и её подружка (обе старше меня лет на пять) пошли кататься на качелях и взяли меня с собой. Я их предупредил, что меня на корабле укачивает. Но они были старше меня и потому – умнее. И обе в один голос заявили, что, во-первых, я тютя-матютя, а во-вторых, это никакой не корабль, а обыкновенная раскачивающаяся маленькая лодочка-качель на цепях. Поэтому первые секунд сорок пять мне даже нравилось, но потом как-то стало нравиться всё меньше и меньше, и постепенно стало очень плохо. Я плакал и просил остановиться. А они, хотя и были добрыми девочками внутри, но снаружи понимали, что из меня нужно мужчину воспитывать, а я тут капризничаю, как маленький. Поэтому они не останавливались и, согласно процессу воспитания в спартанском стиле, где неправильно родившегося сбрасывали со скалы, дружно смеялись надо мной. Но вдруг как-то стали тормозить. То ли до них дошло, то ли вид мой на них подействовал. Выйти из маленькой лодочки в бурном море, смертельно укачавшись, я уже не мог, и они буквально несли меня до дома целый час на руках, говоря при этом всякие разные слова в мой адрес и обещая, что больше никогда и никуда меня с собой не возьмут, особенно в парк кататься на маленькой лодочке, на которой, кстати, совершенно не укачивает. В этот день я с их помощью понял, что нормального мужчины из меня, наверное, уже не получится, а получится только вечно укачиваемый.

А ещё там было море. Совершенно необыкновенное, какое бывает только в детстве. Оно пахло, дышало, говорило, волновало и вселяло какую-то непонятную радость. К нему тянуло, и хотелось быть в нём, в смысле, плавать без лодочки. Может быть, я родился рыбой, но в роддоме что-то перепутали? Может быть, все родились рыбами? Почему дети могут сидеть в море часами? Почему они его не боятся? Почему им не холодно первые пять часов, а взрослые синеют от холода через пятнадцать минут (если вода прохладная)? Почему, слегка обсохнув и согревшись, они, дети, несутся туда снова?...

Может быть, потому, что они чувствуют себя частью Вселенной, частью природы, кем мы все на самом деле и являемся. А потом дети вырастают и становятся частью семьи, общества, рабочего коллектива, секты, группы, футбольной команды, правительства, профсоюза, и перестают быть самым главным – частью природы, вершиной её творения. И природа расстраивается, болеет и умирает, меняется к худшему, а с ней меняемся и мы, и тоже не всегда к лучшему. Может быть, природа учит нас, а мы просто бестолковые ученики?

Итак – МОРЕ.

Мама уходила на пляж очень рано, думаю, часов в шесть утра, и уносила с собой тонну еды. На пляже она занимала место у самой воды, так она любила. Мы, я и папа, а потом, когда родился брат, то и он, приходили, наверное, в семь и приносили с собой палки и простыню.

Палки вкапывались по углам периметра, создавая остов или скелет сооружения, и к ним привязывалась верёвочками большая белая простыня. Сооружение напоминало тент. Это был маленький островок тени, куда меня стремились засунуть после десяти часов, когда солнце было уже очень жаркое. И ещё мы ели всякую еду... И вкус этих крутых яиц, колбасы, помидоров и хлеба – там, в детстве, – невероятно отличается от всей еды в мире. Это был совершенно незабываемый вкус. Его и сравнить-то даже ни с чем невозможно... Я думаю, что это просто был ВКУС ДЕТСТВА. То есть ассоциации возраста, соединённые с происходящим тогда, намертво сидят в нас. И потому никто и никогда не может повторить бабушкины пирожки с мясом.

А ещё я помню, как мы ходили на медицинские пляжи. Они были отдельными для мужчин и женщин. Все там плавали и загорали голыми, как, видимо, и положено в медицине. Пляжи были рядом через небольшую загородку, для удобства подглядывания. Я спросил как-то бабушку, зачем здесь люди плавают и загорают голышом. Бабушка, как настоящий медработник, мне объяснила, что у этих людей особая болезнь (пляжи назывались медицинскими, помните?), которая требует, чтобы они как можно дольше находились на солнце без одежды.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.